

Вырубили, начисто вырубили человеческие леса на Руси, генетически отбросили русский народ на столетия назад, а может, и на тысячелетия...

Фёдор Абрамов

*«Так что же нам делать?»
(Из дневников, записных книжек, писем.
Размышления, сомнения,
предостережения, итоги)
Издание журнала «Нева», 1995. С. 54*



**О РУССКАЯ
ЗЕМЛЯ!**

Александр ЛЫСКОВ

СТАЛИН С КОСОЙ НА ПЛЕЧЕ

**К 80-ЛЕТИЮ ЛИКВИДАЦИИ КРЕСТЬЯНСТВА
В РОССИИ**

Сталин в сольвычегодской ссылке помогал хозяевам на сенокосе. Острым лезвием срезал головы у лютиков-цветочков. Широкими махами по вечерней росе. «И всю-то ноченьку, бывало, напролёт по лугу похаживает, – рассказывали советским историкам очевидцы. – Лезвие пучком травы оботрёт. Брусом звень-звень, и опять раззудись плечо. Притомится к утру. Одним махом опорожнит глиняный кувшин молока, трубочку выкурит и – спать на сеновал. Потом, значит, трава высохнет, он, Иосиф-то Виссарионович, вилы в руки да и давай сено метать. Этаким стог выстроит! Весь-то луг стогами уставит. Скотине зимой ешь – не хочу...»

Чем-то, видать, поглянулись Сталину те северные места. Двадцать лет в памяти держал, и когда раззудилось у него плечо пройтись с косой по крестьянским головам, то складывал он их, как бывало стога, в десяти километрах от места своей сольвычегодской ссылки, в слободе Макариха. В сараях, выстроенных по типу сенных, в четырёх-пять слоёв клал. На жердяные нары – для лучшей просушки.

Макариху помнит уроженец тех мест Михаил Пузырёв, человек преклонных лет.

«Пастушком я гонял гурты скота до Котласа. Грузили скот в баржи. Иной раз неделю, две приходилось пасти в ожидании судна. Как раз на лугах недалеко от Макарихи. В это время я и познакомился с тем “этапным пунктом” для крестьян. Любопытство и сочувствие приводило нас, гуртовщиков, к их убогим жилищам. Мы приносили им молоко, которое имели от стада в избытке и сливали на землю. Была поздняя осень. Народ

жил на нарах под навесами из тонких деревьев, покрытых хвойными лапами. Выпадет снег, растает от тепла изнутри этого шалаша и прольётся дождём на спящих людей. Вид и судьба этих страдальцев сделали меня больным. По возвращении домой меня начали мучить ночные кошмары. Мать приглашала знахарок, чтобы заговорами избавить меня от душевного недуга. До сих пор слово “Макариха” для меня как удар плетью по спине», – пишет Михаил Дмитриевич в своей биографической книге.

И воспоминания обитателей Макарихи тридцатых лет, бывших тогда детьми, тоже как удары плетью по сердцу.

Читаю сборник литературно не обработанных бесед с бывшими узниками Макарихи, изданный А. Л. Заерко. В Белоруссии уже стало своеобразной национальной традицией подобное собирательство свидетельств с помощью диктофона. Начиная с Адамовича и Алексиевич. Сырой материал – это как обнажённая рана. Стилистически, конечно, не ровно. Зато по сути – бесподобно.

«Молодые парни помирали. Идёшь на лесопилку – лежит на земле парень, сосёт палец. Домой возвращаешься – он уже мёртвый лежит...»

«Привезли в Макариху, так местные на нас сперва косо глядели. “Сосланцы, сосланцы!” А потом, когда поняли, так жалели и помогали кто чем».

«Привели нас к баракам и говорят: “Занимайте места”. Наша мама с малыми детьми разве успеет место захватить? В лесу сделали шалаш, там и жить стали. В шалаше мама и рожала».

«Никакой работы для нас, детей, не было. А голод страшный! Собирали ягоды, грибы. Сушили траву. Ели даже мох».

«Барак огромный и только в торце окно. Вечные потёмки. Пищи никакой, антисанитарные условия. Немцы там были, так они быстро поумирали. Такая нация непривычная».

«Кто не ходил на работу – тому двести граммов хлеба в сутки. Работнику – шестьсот. Ложку крупы. Десять граммов соли».

«По деревням пошла Христа ради. Хотя стыдно – молодая ведь была. Кто хлеба даст и ласковое слово скажет. А кто и: “Паразиты! Кулаки! Вредители!”»

«Потом мама мне говорила: “Ты мне спасла жизнь. Если бы ты умерла тогда, я бы утопилась”».

«Дети очень болели. Я помню, как брат умер. Я тогда тоже больная лежала, в жару. Откры-

ла глаза, смотрю – его моют! Думаю: “Что это! С ума сошли! Замёрзнет!” А он уж мёртвенький».

«До Великого Устюга пешком по реке, по льду гнали. Там в церкви поселили. Очень много рядов нар в церкви. Там и жили».

«Туды поглядишь – тайга, туды поглядишь – тайга. Папа в земле яму выкопал. Печку из глины сделал. Да ветками накрыл».

«Они поглядели, что ему, папе-то нашему, помирать, так и выпустили. Приехал он из лесу к нам весь опухший».

«Начался голод. Комендант удрал. Стали и мы разбегаться».

«Подводы подогнали и нас в лес завезли за срок километров. Голое место».

«На допросе били по голове книгой. “Говори, где твой брат! Говори, а не то расстреляем!”»

«Потом родители заболели и поумирали оба. Или отец раньше, или мать – не помню. Похоронили без гробов. И мы остались, значит, я и два брата».

«Вежливый комиссар... Шли пешком по снегу тридцать километров. Она замёрзла с ребёнком... Зашли в деревню. Зашли в дом. Так там тесно, что стоим и спим. Часа три постояли и пошли дальше».

«Надоело жить в лесу. Комаров богато. Люди мрут. Трупов накладывают в ямы и засыплют немного, чтобы завтра ещё в эту яму влезло. Мы втроём утекли: Ульяна, Настя и я».

«Хлеб был такой – пополам с опилками».

«Приехал вольный, моряк, на флоте служил. Искал семью. И он за месяц в Макарихе концы отдал».

«Липу ели – толкли. Траву “пикан”. Кожуру от гороха. Опилки. Щавель – этот смачный. Мать в ступе потолчёт и едим».

«Пустой барак стоял. Легли спать – что такое шевелится?.. Батька спичку запалил – красно! Клопы! Выйдешь на улицу, и мох красный. Клопы по земле ползают».

«Отец совсем ослаб. Приходит комендант: “Шебека, поднимайся на работу!” – “Не могу, совсем ослаб”. – “Тебе говорят – поднимайся!” Пошёл батька. А вечером заглядывает к нам знакомая. “Идите своего отца поднимайте. Он там в лесу лежит”. И не спасли мы его».

«Обоз вдруг останавливается. Минут двадцать стоит. А пурга, мороз! Ну, тронулись. Видим, на обочине берёзка подрубленная для приметы и под ней снег разрыт. Значит, кто-то помер. Покойных не везли, сбрасывали и снегом присыпали».

«А весной нас на баржах увезли в Яренск. И умирали дети на баржах. На лодку складут, подвезут к берегу и вывалят».

«...И нары, нары, нары. Дядя больной был, не мог наверх, так мы наверх полезли. А там на нарах лёд. Откололи сколько могли и на остатках спали. От холода, от голода дядя умер и все дети его умерли».

«И чеченцы были, и татары, и киргизы. Я гляжу – в лесочке они коня убили и делают из него колбасы. Мне было страшно глядеть на такое».

«Мешок распорол, побрели у берега как бреднем. Наловили маленькой рыбки. Горькая. Мама натушила. Ели...»

«Мужчины строили бараки, а женщины пили-

ли лес, скоблили... Едва шевелились, голодные. Запомнилось: бревно лежит. На всю его длину мужчины становятся. Плечо к плечу. И то еле поднимают. Сами еле на ногах стоят».

«Там же не глядели, что семья, что не семья. Маму с нами – в одну сторону, батьку – в другую. Мы к нему приезжаем – нам говорят, он уже слабый. Работал столяром на сквозняке. Воспаление лёгких. И помер. Мама родила. Дитяtko весь в болячках. Померло дитяtko. А мама постепенно выжила».

«По приезде в Котлас из барачников выгнали. “Трудоспособные направо, нетрудоспособные – налево”. Хоть женщины, хоть дети. Разделили. И всех здоровых погнали по реке, по льду и гнали до Пинеги, это километров двести будет. А больных обратно в барак. Там никто не выжил».

«Батька уже ходил как нищий, хлеб собирал. Милостыню просил».

«У них был только мешок маленький бульбочки высушенной. А детей семеро или девятеро. По двое помирали сразу».

«Днём хоронить запретили. Чтобы раницей, только свиднеет. Или поздно вечером. Нахоронили целое кладбище детей. А должна была приехать комиссия из Москвы, так в одну ночь все кладбище машинами сровняли. Все кресты, все холмики. Будто и не было ничего».

«Привезли в Пинегу, выгнали с баржи на берег. Ночью погнали дальше. Дорога в болотах была прорублена свежая. Потом эту дорогу раскидали. Чтобы мы не убежали».

«Копали в снегу и нашли меня. Живая ещё была. Нашли и обратно в барак привели. А Дмитрок сбежал. Убегали кто как мог».

«Из тюрьмы погнали и сутки шли до станции пешком. Я ещё в тюрьме ребёнку своему сшила рубашечку. Так она вся погнила. Как он выжил?! Не мыла сколько дней. Раз эшелон остановился, и лужа у колес. Так солдат не позволил воды набрать. В говне весь ребёночек...»

«Детей бросали по пути. Не потому, что плохие родители, а потому, что брошенных забирали в детский дом и там хоть как-нибудь да кормили».

«Смеялись над нами: “Ссылные какие прожорливые, овечью картошку едят”. Выхватишь из кормушки у скотины картофелину – и вкуснее, чем шоколад».

«Приехали – и ввалило брюшной тиф. Врачей нет. И вывозят в лес и там ямы копают».

«Я по вагонам пошла. Где же он? Нету! Поезд тронулся. Больше отца я не видела».

«Которые большие дети, так ничего. А кого малых повезли, так все померли. Утром просыпаешься, смотришь по нарам – только кукушки кукуют, матери».

«Утром встанешь, так валом людей мёртвых лежит».

«Папа срубил такую баньку. Печь глинобитную поставил. Не дали, не дали и тут! “Иди в барак!” Он говорит: “Не пойду в барак. У меня ребёнок маленький, что же я его буду там замораживать!” Владимир Иванович был, Володька. Три годика. Я его похоронила...»

БОТИНОЧКИ

И вот была там одна девочка. У неё не мать, а мачеха. И она мне всё жаловалась на неё. Знаете, как дети. Мачеха всегда плохая. Не буду, говорит, с ней жить никогда. Характерная такая девочка. И подбила она меня убежать. «Куда же мы пойдем?» – «Да хоть куда».

И вот мы пошли.

Дошли до той деревни, до тех людей, к которым нас мама водила в баню. Они нам дали по чашке молока и хлеба. Показали дорогу. На третий день в Котласе нас поймали. На переправе. Лодочники нас бесплатно перевезли. А тут милиция. Схватили. Несколько суток держали в сарае каком-то. Потом отпустили и сказали, чтобы шли обратно. А мы обратно не пошли. Пошли домой, в Шабуневичи. Из Котласа не со станции, а прямо с околицы пешком. У нас ничего не было в руках. Вот только что на нас. И босиком. У меня ботиночки были, так я их берегла. На шнурках через плечо так и шла. Там дороги называются трактами. Сказали, этот тракт на Ярославль.

Питались, кто что даст в деревнях. Хлеба. Молока стакан.

Днём нельзя идти, ночью только. А ночи были такие светлые, как всё равно днём. И тракт этот всё через лес. Где-нибудь на горочке приляжем, чтобы поменьше комаров, поспим и опять в путь. Ни человека, ни машины, ни подводы!

Шли холодные, голодные, вшивые.

Всё лето шли.

До Москвы одна станция осталась. И тут я решила пофасонистей приодеться. Ботиночки развязала и стала надевать. А они мне не лезут. За лето нога выросла. Уж как я плакала. Как жалко было ботиночек. Совсем не ношенные были, новенькие. Тогда они стоили три рубля пятьдесят копеек. Я их продала. Купили билет до Смоленска. На больше денег не хватило. А оттуда уже под лавкой доехали до Минска. У меня там тётя была, мамина сестра. Она меня в домработницы устроила к инженерам. Я нянчилась с их девочкой и носила её на фабрику к ним кормить...

ПОСЛЕДНИЙ СЕНОКОС

Фотоальбом толстый, как ларец. Обложки бархатные. Слоистые боковины. И застёжка на торце серебряная, с пружинкой.

Фотографии в альбоме из ателье Ф. Маркса. Санкт-Петербург. Все с «ер» и твёрдым знаком.

Котелки, трости, усы. На женщинах платья с рукавами «баранья нога» и шляпки из соломки с плюмажем.

Мальчики в матросках. Девочки в батистовых шемизетках.

Это крестьянская семья, выходцы из далёкой северной деревни, во всей силе и красе.

На шее пятилетнего мальчика лента с медалькой «300 лет дома Романовых». Кто-то из свиты надел во время гулянья по Невскому. Хороший повод сфотографироваться.

Потом в снимках перерыв в шестнадцать лет. В невозвратном прошлом – плюмажи, трости и котелки. Семейство удачливого отходника загнано на малую родину, вот в эту деревню Полуяновскую, в семи километрах от Котласа, от Макарихи, куда я забрался на своем УАЗе и где теперь

пью чай у Пелагеи Осиповны Шестаковой.

В альбоме глянец на фотографиях тридцатого года уже пупырчатый, бумага ломкая. Видно, что орудовал провинциальный фотограф. На снимке то же самое семейство, только кто-то постарел, кто-то возмужал и расцвёл. Позируют на скошенном лугу вокруг могучего коня, запряжённого в дровни для возки сена. Мужчины с вилами, в длинных белых рубахах навыпуск. Женщины – в сарафанах, косынках и с граблями. Сено уже окуплено. Остаётся свозить его на поветь.

А под снимком подпись выцветшими чернилами перьевой ручкой: «Последний сенокос».

Когда Пелагея Осиповна, будучи ребёнком, листала этот альбом, то, останавливаясь на этой странице, спрашивала, почему сенокос последний. Ей объясняли, мол, отца той осенью в армию забрали, вот он на память и подписал.

Уже взрослой, и то лишь осторожными материнскими намёками, шёпотом, дано ей было понять, что последний сенокос в тридцатом году означал для семьи, для всего рода, конец вольной жизни. Деда выслали в Заполярье. Тетю выгнали с рабфака. Отец в армию успел уйти не как раскулаченный и помалкивал о судьбе родителей. Коня, что на снимке серый в яблоках, забрали в район, в партийную спецконюшню. Дом разграбили. Сено с повети, которое на снимке ещё в валках, свезли в общественный скотный двор.

Через год, правда, после окончания «головокружения», деду позволили вернуться с Печоры в родную деревню с условием, что будет служить колхозу верой и правдой. Разрешили ему в его собственной кузнице раздуть меха на благо коллектива. Трудиться за палочки.

Есть в альбоме Пелагеи Осиповны и снимок той поры. Возле кузницы на колоде сидит дед с мужиками. Пьют водку. Сделан снимок, скорее всего, уже плёночной камерой. Сушили, видимо, на стекле, под содовым раствором. Промыли плохо. К стеклу прилипло. Пришлось оттирать. Осталась язва на углу карточки...

Нынче год как раз 2010. Круглая дата. Восемьдесят лет! Глядел, глядел я на старые снимки, а потом попросил позволения у хозяйки вынуть из угловых прорезей тот, с «последним сенокосом». Пошёл с ним на точку съёмки.

Луг этот называется Заполоски. Уходит косогором к опушке леса. Он теперь раза в три меньше, чем был в год «последнего сенокоса». Но точка съёмки ещё не заросла. Встаю на эту точку. И свою «мыльницу» нацеливаю по визирю тридцатого года. Смотрю в окуляр, сравниваю натуру с изображением на старой фотографии.

На фотографии тридцатого года лес за деревней едва виден. И травы нигде ни былинки. Скошена. Выедена скотиной до земли. И на этом гигантском «поле для гольфа» в ряд вдоль берега реки насчитываю – тридцать домов. Шесть гумеников. Несчётное количество амбаров, овинов, бань. На отшибе – кузница. На холме – токарня колёсных дел мастера. Рядом мастерская шорника.

В конце деревни видна мельница. Колесо металлическое! И пешеходный мост. И ещё один – горбатый, грузовой, для подвод. Мост действовал в любой паводок и выдерживал ледоход.

В деревне сто двадцать жителей. История её насчитывает пятьсот лет. До того здесь русского человека не было. Сплошная тайга и редкие землянки первобытных угорцев. Свободные, черносошные мужики и бабы цивилизовали её, сделали пригодной для жизни и радости.

Это на альбомном «последнем» снимке. Теперь смотрю в окуляр японской «мыльницы».

Вижу матёрый лес по всей панораме. Реки не видать – в ивовом и ольховом тоннеле течёт. Будто под землю ушла.

Крыши трёх оставшихся домов едва различимы в зарослях. Два дома дачных. Но и они уже брошены. Один – хозяйственный.

В нём зимует, прозябает последний из могижан, престарелый внук успешного изготовителя тележных колёс, с «подругой», как он выражается. Сдаёт внаём свою «двушку» в райцентре. На выручку да на пенсию коротает дни с коровой и поросёнком...

Лицезрею Потоп. Лесной, таёжный, сосновый да осиновый.

Конец света.

В этой деревне огни погашены.

Вот она была и нету.

Попала под расправу.

Сенокос успешно завершён.

Использованы фрагменты воспоминаний: Н. А. Карачун, Н. А. Левчик, Н. И. Цехановской, М. Т. Сей, Т. К. Дубровской, Р. Д. Уласевич, И. И. Андриященко, В. К. Журомского, С. Т. Бородавко, Ю. Ф. Сушицкой, Н. А. Еловой, А. А. Загурской, А. Т. Коваленко, М. А. Кондратович, Ф. И. Образцовой, Я. В. Шебека, Ф. С. Контович, О. С. Гончар, А. А. Роговенко, И. И. Шаковец, А. И. Зыль, В. А. Роленок, С. М. Ваннагель, Ю. И. Изотовой, А. К. Овчинниковой, М. И. Пигоревой, Н. И. Жидович, Н. П. Демидовой, Э. П. Гуляневич, П. И. Филиппович, М. И. Веремовской («Ботиночки»).

• 50 лет назад был принят Указ «О борьбе с тунеядством»



Александр Александрович Росков – уроженец Каргопольщины, выпускник Литинститута, автор нескольких сборников стихов и книги прозы. Его произведения отмечены всероссийскими литературными премиями им. Фёдора Абрамова и «Имперская культура». Работает в издательстве «Северная неделя».

Александр РОСКОВ

БАЛЛАДА О ТУНЕЯДЦАХ

1

А ведь Бродский мог бы оказаться, хоть и велика она – страна...

* * *

И у нас в деревне тунеядцы пребывали в оны времена. За нетрудовую честь и доблесть, по суду, на несколько годов пачками в Архангельскую область выслали их из городов, невзирая, так сказать, на лица. Публика... Что вспомнить я могу: были тут красавицы-девицы в половом расцвете и в соку, были также дамы и за сорок. Большинство, конечно же, мужчин. Долго ещё в разных разговорах вспоминался эпизод один... Привезли в деревню спозаранок, аккуратно – на утренний развод партию накрашенных гражданок. (В те года не пользовал народ наш губных помад, а также прочих придамбасов, тех, что для красы.) Этих дам, заведомо порочных, оглядел, потеревив усы, председатель с низкого крылечка, тяжело вздохнул, промолвил: «Ах... А у вас, гражданочки, конечно, не бывали никогда в руках – вижу я – ни вилы, ни лопаты...» И тогда одна из этих дам, глядя нарочито виновато на него, сказала: «Где уж нам! Были, я скажу вам откровенно, в этих ручках...» Пару фраз затем... И не покраснели разве стены у конторы нашей утром тем.